

Д. Гарibaldi — Джованьоли
Капрера, 26 июня 1870 г.

Мой дорогой Джованьоли!

Я проглотил вашего «Спартака», несмотря на то что у меня мало времени для чтения, и он вызвал во мне чувство восторга и восхищения.

Я надеюсь, что наши сограждане оценят огромные достоинства вашего произведения и, прочтя его, проникнутся неодолимой стойкостью в борьбе за святое дело свободы.

Вы, римлянин, изобразили не лучшую, но наиболее блестящую эпоху истории величайшей республики — эпоху, когда гордые хозяева мира уже начали опускаться в бездну порока и разложения, но, несмотря на развращенность и пороки, подобно гигантам возвышались над предыдущими поколениями всех эпох и народов.

«Из всех великих людей — величайшим был Цезарь», — сказал один знаменитый философ, а как раз личность Цезаря наложила отпечаток на эпоху, изображенную вами.

Образ Спартака — этого Христа-искупителя рабов — вы изваяли резцом Микеланджело, и я, получивший свободу раб, благодарю вас за это и за те моменты волнения, которые я пережил при чтении вашей книги: то я воодушевлялся чудесными подвигами рудиярия, то слезы орошали мое лицо, а к концу повести я испытал чувство разочарования оттого, что она так коротка.

Да сохраняют наши сограждане память об этих героях, которые все спят в родной нам земле, где больше не будет ни гладиаторов, ни господ.

Всегда ваш

Джузеппе Гарibaldi

ГЛАВА I

Щедрость Суллы

За четыре дня до ноябрьских ид (10 ноября) 675 года римской эры, в консульство Публия Сервилия Ватия Изаурика и Аппия Клавдия Пульхра, улицы Рима с самого рассвета были заполнены народом. Он валил из всех частей города к Большому цирку.

От узких, кривых и многолюдных улиц Эсквилина и Субурры, населенных преимущественно простым людом, толпа, все нарастая, устремлялась по главным улицам: Табернельской, Гончарной, Новой — в одну сторону — к цирку.

Граждане, рабочие, пролетарии, отпущенники, старые, искалеченные и покрытые рубцами гладиаторы, нищие и изувеченные ветераны гордых легионов, простолюдинки, шуты и скоморохи, танцовщицы и толпы резвых детей шли бесконечной вереницей. Радостные лица, веселые взгляды, беззаботные речи и легкие шутки свидетельствовали о том, что народ собирался на какое-то излюбленное зрелище.

Цирк, построенный в 138 году от основания Рима царем Тарквинием Древним, стал называться Большим с 533 года, когда цензор Квинт Фламиний выстроил другой цирк, названный его именем.

Большой цирк, расположенный в Мурсийской долине между Палатинским и Авентинским холмами, не достиг еще ко времени событий, описываемых в этой книге, тех необъятных размеров и того великолепия, которые придали ему впоследствии Юлий Цезарь и Октавиан Август,

но все же это было огромное, величественное здание длиной в две тысячи сто восемьдесят шагов и шириной в девятьсот девяносто восемь, вмещавшее свыше ста двадцати тысяч зрителей.

Здание цирка имело почти овальную форму и было срезано с запада по прямой линии, восточная же его сторона замыкалась полукругом. В западной части цирка находился оппидум — постройка с тринадцатью арками. В средней арке был один из двух главных входов в цирк, называемый Парадными воротами. Через них на арену входила процессия с изображениями богов, ее появление служило знаком для начала игр. В остальных двенадцати арках располагались конюшни, или темницы. В них помещались колесницы и лошади, когда арена служила для бегов; и гладиаторы и хищные звери, когда происходили кровопролитные состязания.

От оппидума сбегали полными кругами многочисленные ряды ступенек — сиденья для зрителей. Ряды сидений оканчивались в портике под арками, где были места для знатных женщин.

Против Парадных ворот находились Триумфальные ворота. Через них выходили победители. По правую сторону от оппидума были расположены Ворота смерти. В эту зловещую дверь особые служители цирка при помощи длинных крючьев убрали изуродованные тела убитых или умирающих гладиаторов.

Разрезая арену, между оппидумом и Триумфальными воротами тянулась стена на пятьсот низкая стена, так называемый хребет. Она служила для определения дистанции во время бегов.

Посередине хребта возвышался обелиск солнца, а по сторонам его — башенки, колонны, жертвенники и статуи.

Арену окружал парапет. Вдоль него тянулся ров, наполненный водой, а за ровом поднималась железная решетка. Все эти преграды охраняли зрителей от возможного нападения диких зверей, свирепствовавших на арене.

Так выглядело это грандиозное, предназначенное для зрелищ здание, все более наполнявшееся бесконечными толпами римлян.

Что же происходило в этот день? Какой праздник? Какое зрелище привлекало такую массу народа в цирк?

Луций Корнелий Сулла Счастливый, властитель Италии, гроза Рима, еще за несколько недель приказал оповестить, что три дня подряд он будет угощать и развлекать зрелищами римский народ.

И уже накануне зрелищ в цирке вся римская чернь восседала на Марсовом поле и вдоль Тибра за столами, приготовленными по приказанию грозного диктатора. Она шумно пировала вплоть до наступления ночи, предавшись под конец разнузданной оргии. Этот пир, устроенный страшным врагом Гая Мария, отличался царской роскошью и великолепием, неслыханным изобилием пищи и самых тонких вин.

Щедрость Суллы Счастливого была такова, что для этих празднеств и игр, устроенных в честь Геркулеса, он пожертвовал десятую часть своих богатств.

Так Сулла левой рукой дарил римлянам часть богатств, которые он награбил правой, и граждане Рима, в глубине души смертельно ненавидевшие Луция Корнелия Суллу, принимали от него с притворно веселым видом зрелища и угощения.

Наступил день. Яркие солнечные лучи, пронизывая тучи, позолотили вершины десяти холмов, храмы, базилики и сверкающие белизной драгоценного мрамора дворцы патрициев. Своей живительной теплотой солнце согрело людей, разместившихся на скамейках Большого цирка. Свыше ста тысяч граждан ожидали наиболее любимого римским народом зрелища — боя гладиаторов.

Трудно представить величавую панораму огромного цирка, заполненного сотней тысяч зрителей обоего пола, разного возраста и положения. Шум массы народа, мощный, как гул вулкана, мелькание голов и рук, похожее на яростное и грозное волнение моря во время бури, были лишь деталями великолепной ни с чем не сравнимой картины, которую представлял Большой цирк в этот момент.

В амфитеатре простолюдины ели принесенную с собой пищу. С большим аппетитом они уплетали ветчину,

холодную говядину, излюбленную кровяную колбасу и сырные и медовые пирожки или сухари. Еда сопровождалась острыми словечками, непристойными шутками, беззаботной болтовней, громким, непрерывным смехом и частыми возлияниями.

Продавцы жареных бобов и пирожков находили покупателей среди плебеев, которые, желая побаловать своих жен и детей, покупали эти дешевые лакомства.

Изысканно вежливые и важные семьи богачей, всадников и патрициев, собирались оживленными группами. Элегантные щеголи покрывали циновками и коврами твердые сиденья и открывали зонтики, чтобы защитить красивых матрон и грациозных девушек от палящих лучей солнца.

Близ Триумфальных ворот, в третьем ряду сидела между двумя кавалерами матрона необыкновенной красоты. Эта женщина своим стройным и гибким станом и роскошными плечами с первого взгляда производила впечатление подлинной дочери Рима.

Правильные черты лица, большой лоб, красиво изогнутый нос, маленький рот, большие черные выразительные глаза придавали ей чарующую прелесть. Мягкие и тонкие волосы цвета воронова крыла, густые и незавитые, собранные на лбу под диадемой из драгоценных камней, ниспадали на плечи.

Туника из тончайшей белой шерстяной материи, отороченная внизу изящной золотой полосой, позволяла видеть всю грацию ее тела; поверх туники ниспадала красивыми складками белая палла с пурпурными полосами.

Этой женщине, так роскошно одетой и такой красивой, не было, вероятно, еще и тридцати лет; то была Валерия, дочь Луция Валерия Мессалы, единоутробная сестра Квинта Гортензия, знаменитого оратора, соперника Цицерона. Всего несколько месяцев назад Валерия была отвергнута своим мужем под предлогом ее бесплодия. В действительности же причиной развода было ее поведение, о котором давно шли громкие толки по всему Риму: молва считала Валерию развратной женщиной. Как бы

то ни было, но она разошлась с мужем таким образом, что ее честь осталась достаточно защищенной от подобных нареканий.

Возле нее сидел Эльвий Медуллий — длинный, бледный, худой, прилизанный, надушенный. На неподвижном и невыразительном лице этого человека лежала печать скуки и апатии; уже в тридцать пять лет жизнь казалась ему неинтересной. Эльвий Медуллий был из тех изнеженных римских патрициев, которые право жертвовать собой за отечество и его славу предоставляли плебеям, сами же предпочитали проматывать в роскошной праздности родовые имения.

По другую сторону Валерии Мессалы сидел Марк Деций Цедиций, патриций лет пятидесяти, с круглым открытым лицом, веселый, красивый, невысокого роста толстяк; высшим счастьем для него было как можно более продолжительное пребывание за столом в триклинии. Он тратил половину своего дня на смакование изысканных блюд, которые ему приготавливал его повар, один из известнейших специалистов в Риме. Другую половину дня он посвящал мыслям о вечерней трапезе. Одним словом, переваривая обед, Марк Деций Цедиций мечтал о часе ужина.

Сюда же позже пришел Квинт Гортензий, славившийся своим красноречием. Ему еще не исполнилось тридцати шести лет. Он долго изучал манеру двигаться и говорить; отлично научился гармонически управлять каждым своим жестом, каждым словом, так что в Сенате, в триклинии или в ином месте каждое его движение обнаруживало поразительное благородство и величие, казавшиеся врожденными. Гортензий был искусным артистом; половиной своих триумфов он был обязан мелодичному голосу и всем приемам декламационного искусства, настолько хорошо им усвоенным, что даже Эзоп, известный трагический актер, и знаменитый Росций спешили на Форум, когда Гортензий произносил речи, чтобы учиться у него декламации.

Недалеко от места, где сидела Валерия, находились под присмотром воспитателя два мальчика, принадлежавшие к классу патрициев, четырнадцати и двенадцати лет. Это были Цепион и Катон, из рода Порциев, внуки Катона Цензора, который прославился во время Второй Пунической войны тем, что добивался во что бы то ни стало уничтожения Карфагена.

Цепион, младший из братьев, казался более разговорчивым и приветливым, и в то время как он часто обращался к Сарпедону, своему воспитателю, юный Марк Порций Катон стоял молчаливый и надутый, с сердитым видом, вовсе не соответствовавшим его возрасту. Уже теперь чувствовались стойкость и твердость его характера и упорная непреклонность убеждений. Врожденная закаленность духа, изучение греческой, в частности стоической, философии и, наконец, упорное подражание традициям, связанным с именем его сурового деда, сделали из этого четырнадцатилетнего мальчика настоящего гражданина. Впоследствии он лишил себя жизни в Утике, унеся с собой в могилу знамя латинской свободы, завернувшись в него, как в саван.

Над Триумфальными воротами, на скамье близ выхода сидел также с воспитателем еще один мальчик патрицианского рода; он был поглощен беседой с юношей, которому было немногим более семнадцати лет. На бледном лице юноши, обрамленном блестящими черными волосами, сверкали большие черные глаза, в них вспыхивали искры великого ума.

Это был Тит Лукреций Кар, обессмертивший впоследствии свое имя поэмой «О природе вещей». Его собеседник, двенадцатилетний мальчик Гай Лонгин Кассий, сын бывшего консула Кассия, смелый и крепкий, занял впоследствии одно из самых видных мест в истории событий, происходивших до и после падения римской республики.

Лукреций и Кассий оживленно беседовали.

Недалеко от них сидел тщеславный и хитрый Фауст, сын Суллы. Его бледное помятое лицо носило следы

недавних ушибов. Хилый, рыжеволосый, с голубыми глазами, он сидел с таким видом, словно гордился тем, что отмечен перстом судьбы как счастливый сын счастливого диктатора.

Пока зрители ждали прибытия консулов и Суллы, устроившего для римлян сегодняшнее развлечение, ученики-гладиаторы — тироны — фехтовали на арене, сражаясь с похвальным пылом, но без вреда для себя, ненастоящими палицами и деревянными мечами.

Это бескровное сражение никому из зрителей, за исключением старых легионеров и отпущенных на волю гладиаторов-рудиариев, участвовавших в сотнях состязаний, не доставляло никакого удовольствия. Вдруг по всему амфитеатру раздались шумные и довольно дружные рукоплескания.

— Да здравствует Помпей!.. Да здравствует Гней Помпей!.. Да здравствует Помпей Великий!.. — восклицали тысячи голосов.

Войдя в цирк, Помпей занял место на площадке оппидума. Он приветствовал народ изящным поклоном и, поднося руки к губам, посылал поцелуи в знак благодарности.

Гнею Помпею было около двадцати восьми лет; он был высокого роста, геркулесовского телосложения; необыкновенно густые волосы его почти срослись с бровями, из-под которых глядели большие миндалевидные черные глаза, правда, малоподвижные и невыразительные. Суровые и резкие черты его неподвижного лица и могучие формы его тела производили впечатление мужественной, воинственной красоты.

Уже в двадцать пять лет этот юноша заслужил триумф за войну в Африке и одновременно получил от самого Суллы, вероятно в минуту необычайно хорошего настроения, прозвище Великий.

Он сумел завоевать любовь всех легионов, состоявших из ветеранов, закаленных в трудах и опасностях тридцати сражений и провозгласивших его императором.

Быть может, громкие приветствия, которыми встретили Помпея римляне, собравшиеся в Большом цирке,

отчасти объяснялись ненавистью к Сулле. Не имея возможности выразить эту ненависть иным способом, народ проявлял его в рукоплесканиях и похвалах Помпею как единственному человеку, способному совершать подвиги, равные подвигам Суллы.

Вскоре после прибытия Помпея появились консулы, срок полномочий которых истекал первого января следующего года, — Публиций Сервилий Ватий Изаурик и Аппий Клавдий Пульхр. Впереди Сервилия, несшего службу в текущем месяце, шли ликторы. Позади Клавдия, исполнившего обязанности консула в прошлом месяце, также шли ликторы, неся фасции.

Когда консулы появились на площадке оппидума, все зрители поднялись как один в знак уважения к высшей власти республики.

С прибытием консулов бескровное сражение учеников прекратилось, гладиаторы, которым предстояло участвовать в сражениях, ожидали только сигнала, чтобы, по обычаю, пройти перед властями. Взгляды всех были устремлены на оппидум в ожидании, что консулы подадут знак начинать состязания, но консулы окидывали взглядами ряды амфитеатра, как бы ища кого-то, чтобы испросить у него позволения. Действительно, они ожидали Луция Корнелия Суллу, который хотя и сложил с себя звание диктатора, но оставался верховным повелителем в Риме.

Наконец раздались рукоплескания, сперва слабые и редкие, а затем все более шумные и дружные. Все взгляды обратились к Триумфальным воротам, через которые вошел в цирк в сопровождении многих сенаторов, друзей и клиентов Луций Корнелий Сулла.

Этому необыкновенному человеку было пятьдесят девять лет. Он был довольно высок ростом, хорошо и крепко сложен, и если в момент появления в цирке шел медленно и вяло, подобно человеку с разбитыми силами, то это было последствием тех непристойных оргий, которым он предавался всегда, а теперь больше, чем когда-либо.

Но главной причиной этой вялой походки была изнурительная неизлечимая болезнь, наложившая на его лицо и на всю фигуру печать тяжелой, преждевременной старости.

Лицо Суллы было ужасно. Не то чтобы вполне гармонические и правильные черты его лица были грубы — напротив, его большой лоб, выступающий вперед нос, несколько напоминающий львиный, довольно большой рот, властные губы делали его даже красивым: эти правильные черты лица были обрамлены рыжеватой густой шевелюрой и освещены серо-голубыми глазами — живыми, глубокими и пронизательными, имевшими одновременно и блеск орлиных зениц, и косой, скрытый взгляд гиены. В каждом движении этих глаз, всегда жестоких и властных, можно было прочесть стремление повелевать и жажду крови.

Но верный портрет Суллы, изображенный нами, не оправдывал бы эпитета «ужасный», который мы употребили, говоря о его лице, а оно было действительно ужасно, потому что его покрывала какая-то отвратительная грязновато-красная сыпь, рассеянные там и сям белые пятна, что делало его очень похожим, по ироническому выражению одного афинского шута, на лицо мавра, осыпанное мукой.

Сулла, медленно ступая, с видом пресыщенного жизнью человека входил в цирк. На нем сверх туники из белоснежной шерсти, вышитой кругом золотыми украшениями и узорами, была надета вместо национальной паллы или традиционной тоги изящнейшая хламида из яркого пурпура, отороченная золотом и приколотая на правом плече золотой застежкой, в которую были вправлены драгоценнейшие камни. Как человек, с презрением относящийся ко всему человечеству, а к своим согражданам в особенности, Сулла был первым из тех немногих, которые начали носить греческую хламиду.

При рукоплесканиях толпы усмешка искривила губы Суллы, и он прошептал: «Рукоплещите, рукоплещите, глупые бараны!»

Между тем консулы дали сигнал начинать представление, и гладиаторы, числом сто человек, вышли из темниц, построились в колонну и стали рядами обходить арсену.

В первом ряду выступали ретиарий и мирмиллон. Им предстояло сражаться первыми. Они шли, спокойно беседуя между собой, хотя момент схватки был очень близок. За ними следовали девять лакваторов, вооруженных только трезубцами и сетями; они должны были их накинуть на десять секуторов, вооруженных щитами и мечами.

Вслед за этими девятью парами выступали тридцать пар гладиаторов. Им предстояло сразиться друг с другом по тридцать бойцов с каждой стороны и воспроизвести таким образом в малых размерах настоящее сражение.

Тридцать из них были фракийцы, а другие тридцать — самниты, рослые и крепкие юноши, отличавшиеся красотой и воинственной наружностью.

Фракийцы были вооружены короткими, искривленными на конце мечами и маленькими щитами четырехугольной формы с выпуклой поверхностью; на голове у них были небольшие шлемы без забрала, — словом, это было вооружение того народа, к которому они принадлежали. Кроме того, гордые фракийцы были одеты в короткие туники из ярко-красного пурпура, а поверх их шлемов развевалось по два черных пера. В свою очередь, тридцать самнитов носили вооружение воинов Самниума, то есть короткие прямые мечи, закрытые шлемы с крыльями, небольшие квадратные щиты, железные наручники, которые прикрывали правую руку, не защищенную щитом, и, наконец, поножи, защищавшие левую ногу. Одеты были самниты в голубые туники, а шлемы их были украшены двумя белыми перьями.

Шестые заключили десять пар андабатов, одетых в короткие белые туники и вооруженных только короткими клинками, более похожими на простые ножи, чем на мечи; голова у каждого была покрыта шлемом, на опущенном и закрепленном забрале которого находились неправильные, очень маленькие отверстия для глаз. Двенадцать несчастных должны были сражаться друг с другом,

точно играя в жмурки, веселя и забавляя зрителей до тех пор, пока лорарии — служители цирка, специально для этого приставленные, — подгоняя раскаленными железными прутьями, не столкнут их вплотную, чтобы они убивали друг друга.

Эти сто гладиаторов обходили арену под рукоплескания и крики зрителей. Подойдя к месту, где находился Сулла, они подняли голову и, согласно наставлению, данному им ланистой Акцианом, воскликнули хором:

— Привет тебе, диктатор!

— Недурно, недурно! — сказал Сулла, обращаясь к окружающим и осматривая проходивших гладиаторов опытным взглядом победителя, испытанного во многих сражениях. — Эти смелые и сильные юноши обещают красивое зрелище. Горе Акциану, если будет иначе! За эти пятьдесят пар гладиаторов он взял с меня двести тысяч сестерций, мошенник.

Процессия гладиаторов сделала полный круг вдоль арены и, приветствовав консулов, вернулась в свои темницы. На арене, сверкавшей как серебро, остались лицом к лицу только два человека — мирмиллон и ретиарий.

Настала глубокая тишина, и все взгляды устремились на этих двух гладиаторов, готовых к схватке.

Мирмиллон, по происхождению галл, был красивый юноша, белокурый, высокого роста, ловкий и сильный; на голове у него был шлем, украшенный серебряной рыбой; в одной руке он держал небольшой щит, в другой — короткий широкий меч. Ретиарий, вооруженный только одним трезубцем и сетью, одетый в простую голубую тунику, остановился в двадцати шагах от мирмиллона и, казалось, обдумывал, как лучше поймать его в сеть.

Мирмиллон стоял, вытянув вперед левую ногу и опираясь всем корпусом на несколько согнутые колени. Он держал меч почти опущенным к правому бедру и ожидал нападения ретиария.

Внезапно ретиарий сделал огромный прыжок в сторону мирмиллона и на расстоянии нескольких шагов с быстротой молнии бросил на него сеть. Но мирмиллон

в тот же миг быстро отскочил вправо и, пригнувшись почти до самой земли, избежал сети и кинулся на ретиария. Тот, увидя, что дал промах, пустился стремительно бежать.

Мирмиллон стал его преследовать, но гораздо более ловкий и расторопный ретиарий, сделав полный круг вдоль арены, добежал до того места, где осталась его сеть, и подобрал ее.

Однако в тот момент, когда он схватил сеть, мирмиллон почти настиг его. Ретиарий, внезапно повернувшись именно тогда, когда его противник готов был на него обрушиться, кинул на него сеть. Но мирмиллон, упав ничком на землю, снова успел спастись. Быстрым прыжком он уже поднялся на ноги, и ретиарий, направив в него трезубец, задел острием лишь щит галла.

Тогда ретиарий снова бросился бежать под ропот негодующей толпы. Она чувствовала себя оскорбленной тем, что гладиатор осмелился выступить в цирке, не умея как следует владеть сетью.

На этот раз мирмиллон вместо того, чтобы бежать за ретиарием, повернул в ту сторону, откуда мог ожидать приближения противника, и остановился в нескольких шагах от сети. Ретиарий, поняв маневр мирмиллона, повернул обратно, держась все время около хребта арены. Добежав до Триумфальных ворот, он перескочил хребет и очутился в другой половине цирка, совсем близко от сети. Поджидавший его мирмиллон бросился к нему навстречу. Тысячи голосов яростно кричали:

— Задай ему!.. Задай!.. Убей ретиария!.. Убей увальня!.. Убей этого труса!.. Режь!.. Зарежь его!.. Пошли его ловить лягушек на берегах Ахерона!

Ободренный криками толпы, мирмиллон все сильнее наступал на ретиария. Тот, страшно побледнев, старался держать противника в отдалении, размахивая трезубцем, и в то же время кружил около мирмиллона, напрягая все силы, чтобы схватить свою сеть. Внезапно мирмиллон отбил щитом трезубец и проскользнул под ним. Мирмиллон

уже готов был поразить мечом грудь ретиария, как вдруг последний, оставив трезубец на щите противника, стремительно бросился к сети, но не настолько быстро, чтобы избежать меча: ретиарий был ранен в левое плечо, из которого брызнула сильной струей кровь, и все же он быстро убежал со своей сетью. Отбежав шагов на тридцать, он повернулся к противнику и вскричал громким голосом:

— Легкая рана! Пустяки!..

И спустя минуту начал петь:

— Приди, приди, мой красавец-галл, не тебя я ищу, а твою рыбу, ищу твою рыбу!.. Приди, приди, мой красавец-галл!..

Сильнейший взрыв смеха встретил эту песенку ретиария, ему вполне удалось вернуть симпатии зрителей. Гром аплодисментов раздался по адресу этого человека. Будучи безоружным и раненым, истекая кровью, он нашел в себе мужество шутить и смеяться.

Мирмиллон, взбешенный насмешками противника, яростно бросился на него. Но ретиарий, отступая прыжками и ловко избегая его ударов, крикнул:

— Приди, галл! Сегодня вечером я pošлю жареную рыбу доброму Харону!

Эта новая шутка произвела громадное впечатление на толпу и вызвала новое нападение со стороны мирмиллона, на которого ретиарий накинул свою сеть, на этот раз так ловко, что противник оказался совершенно запутанным в ней. Толпа шумно рукоплескала.

Мирмиллон делал невероятные усилия, чтобы освободиться, но все более запутывался в сети, под шумный смех зрителей. В это время ретиарий бросился к тому месту, где лежал его трезубец. Быстро добежав, он поднял его и, возвращаясь бегом к мирмиллону, кричал на ходу:

— Харон получит рыбу!.. Харон получит рыбу!..

Но когда он вплотную приблизился к своему противнику, тот отчаянным, геркулесовским усилием своих атлетических рук разорвал сеть. Соскользнув к ногам мирмиллона, сеть не позволяла ему двинуться с места, но руки его освободились, и он смог встретить нападение ретиария.

Снова раздались рукоплескания. Толпа напряженно следила за всеми движениями, за всеми приемами противников. Ведь от малейшей случайности зависел исход поединка. В ту самую минуту, когда мирмиллон разорвал сеть, к нему подбежал ретиарий и, сжавшись всем корпусом, нанес врагу сильный удар трезубцем. Мирмиллон отразил удар щитом, разлетевшимся вдребезги. Все же трезубец ранил гладиатора, и из трех ран его обнаженной руки хлынула кровь. Почти в тот же момент мирмиллон быстро схватил трезубец левой рукой и, бросившись всей тяжестью своего тела на противника, вонзил ему до половины лезвие меча в правое бедро.

Раненый ретиарий, оставив трезубец в руках противника, побежал, обагрив кровью арену, но, сделав шагов сорок, упал на колено, а потом опрокинулся на землю. Тем временем мирмиллон, тоже упавший от тяжести своего тела и силы удара, поднялся, высвободил ноги из сети и быстро бросился на упавшего врага.

Бурные рукоплескания встретили эти последние минуты борьбы и продолжались еще и тогда, когда ретиарий, обернувшись к зрителям и опираясь на локоть левой руки, показал толпе свое лицо, покрытое мертвенной бледностью. Приготовившись бесстрашно и достойно встретить смерть, он по обычаю, а не потому, что надеялся спасти свою жизнь, обратился к зрителям с просьбой даровать ему жизнь.

Мирмиллон, поставив ногу на тело противника, приложил меч к его груди, поднял голову и стал обводить глазами ряды зрителей, чтобы узнать их решение.

Свыше девяноста тысяч мужчин, женщин и детей опустили большой палец правой руки книзу — в знак смерти, и менее пятнадцати тысяч милосердных подняли его вверх — в знак дарования жизни побежденному гладиатору.

Среди девяноста тысяч человек, опустивших палец книзу, немало было непорочных и милосердных весталок, пожелавших доставить себе редкое удовольствие зрелищем смерти несчастного гладиатора.

Мирмиллон приготовился уже проколоть ретиария, как вдруг тот, выхватив меч у противника, с огромной силой сам вонзил его себе в сердце по самую рукоятку. Мирмиллон быстро вытащил меч, покрытый дымящейся кровью, а ретиарий, приподнявшись в мучительной агонии, воскликнул страшным голосом, в котором не было уже ничего человеческого:

— Будьте прокляты!.. — упал на спину и умер.

ГЛАВА II

Спартак на арене

Толпа бешено аплодировала и обсуждала происшедшее, наполняя цирк гулом ста тысяч голосов.

Мирмиллон удалился в темницы, откуда вышли Плутон, Меркурий, лорарий и крючьями вытащили с арены через Ворота смерти труп ретиария. Место, где осталась большая лужа крови, было посыпано блестящим и тончайшим порошком мрамора, принесенным в небольших мешках из соседних тиволийских карьеров, и оно снова засверкало на солнце, как серебро.

Толпа, аплодируя, наполняла цирк продолжительными криками:

— Да здравствует Сулла!

Сулла, обратившись к Гнею Корнелию Долабелле, бывшему два года тому назад консулом и сидевшему рядом с ним, сказал:

— Клянусь Аполлоном Дельфийским, моим покровителем, вот подлый народ! Разве он мне аплодирует? Ничуть не бывало! Он аплодирует моим поварам, приготовившим ему вчера изысканные и обильные блюда.

— Почему ты не выбрал себе место на оппидуме? — спросил Сулла Гней Долабелла.

— Не думаешь ли ты, что это место сделало бы меня более знаменитым? — возразил Сулла и через минуту прибавил: — Кажется, недурной товар продал мне ланиста Акциан?

— О, ты щедр, ты велик! — сказал Тит Аквиций, сенатор, сидевший возле Суллы.

— Да поразит молния Юпитера всех подлых льстецов! — воскликнул экс-диктатор, с яростью схватившись правой рукой за плечо и сильно почесывая его, чтобы прекратить зуд, вызываемый укусами изводивших его отвратительных паразитов. — И спустя минуту он добавил: — Я отказался от диктатуры, вернулся к частной жизни, а вы все хотите видеть во мне господина. Презренные! Вы только и можете жить в рабстве.

— Не все, о Сулла, рождены для рабства, — смело возразил один патриций из свиты Суллы, сидевший невдалеке от него.

Этот смельчак был Луций Сергий Катилина. Ему было в это время около двадцати семи лет. Он был высок ростом, обладал могучей грудью, широкими плечами и мускулистыми руками. Масса густых черных волос покрывала его большую голову; смуглое мужественное энергичное лицо его расширялось к вискам; на его широком лбу большая и всегда набухшая кровью вена спускалась к носу; темно-серые глаза всегда сохраняли жесткое и страшное выражение, а пробегавшие по всем мускулам его властного и резкого лица нервные судороги обнаруживали перед внимательным наблюдателем малейшие движения его души.

Ко времени, когда начинается наш рассказ, Луций Сергий Катилина приобрел себе славу ужасного человека. Всех пугала его страшная вспыльчивость. Так, он убил спокойно проходившего по берегу Тибра патриция Гратидиана за то, что тот отказался дать ему под заклад имущества большую сумму денег, в которой он, Катилина, нуждался для уплаты своих огромных долгов, ибо, не уплатив их, он не мог получить ни одной государственной должности.

То было время проскрипций, то есть время, когда ненасытная свирепость Суллы затопила Рим кровью. Гратидиан не числился в проскрипционных списках, он был даже из партии Суллы; но Гратидиан был страшно богат,

а имущество занесенных в проскрипционные списки конфисковалось. Поэтому, когда Катилина притащил труп Гратициана к Сулле, заседавшему в курии, и бросил его к ногам диктатора со словами, что он убил Гратициана как врага Суллы и отечества, то диктатор оказался не особенно щепетильным и закрыл глаза на убийство, но зато широко раскрыл их на огромные богатства Гратициана.

Вскоре после этого Катилина поссорился со своим братом, оба обнажили мечи, но Сергей Катилина, помимо того что обладал необыкновенной силой, владел, как никто в Риме, искусством фехтования. Он убил брата и наследовал его имущество, чем спас себя от разорения, к которому его привели расточительность, кутежи и разврат. Сулла и на этот раз посмотрел сквозь пальцы на братоубийство: не стали придирааться к нему поэтому и квесторы.

При смелых словах Катилины Луций Корнелий Сулла спокойно повернулся к нему и спросил:

— А сколько, ты думаешь, Катилина, есть в Риме граждан смелых, как ты, и обладающих, подобно тебе, величием души как в добродетели, так и в пороках?

— Я не могу, славный Сулла, — ответил Катилина, — рассматривать людей и вещи с высоты твоего могущества. Признаюсь, что я чувствую себя рожденным для любви к свободе и для ненависти к тирании, хотя бы прикрытой великодушием или лицемерно действующей во имя блага отечества. Должен сказать, что это благо даже при внутренних волнениях и гражданских раздорах было бы более прочным под властью всех, чем при деспотизме одного. Не входя в разбор твоих действий, я открыто порицаю, как и раньше порицал, твою диктатуру. Я верю и хотел бы верить, что в Риме есть еще много граждан, готовых на все муки, лишь бы снова не попасть под диктатуру одного человека, а тем более если этот человек не будет называться Луцием Корнелием Суллой и если чело его не будет увенчано, как у тебя, победными лаврами, приобретенными в сотнях сражений.

— Так почему же, — спросил Сулла спокойно, но с насмешливой улыбкой на губах, — так почему же вы не вызываете меня на суд перед свободным народом? Я отказался от диктатуры; так почему же не было предъявлено мне обвинение и почему вы не явились требовать от меня отчета в моих действиях?

— Чтобы не видеть вновь резни и междоусобий, которые в течение десяти лет терзали Рим... Но не будем говорить об этом, так как у меня нет намерения обвинять тебя; ты мог сильно ошибаться, но ты ведь совершил столько славных подвигов, память о которых днем и ночью волнует мою душу, жаждущую, подобно твоей, Сулла, славы и могущества. Но скажи, не кажется ли тебе, что в жилах нашего народа еще течет кровь великих и свободолюбивых предков? Вспомни, как несколько месяцев назад, когда ты в курии в присутствии Сената добровольно отказался от диктаторской власти, отпустил ликторов и уходил со своими друзьями домой, один юный гражданин начал тебя порицать за то, что ты отнял у Рима свободу, наполнил город резней и грабежами и сделался его тираном. О Сулла, согласишься, что нужно быть человеком очень твердого закала, чтобы так поступить, — ведь за свои слова юноша мог бы в один миг поплатиться жизнью. Ты был великодушен — и знай, что я говорю не из лести, так как Катилина не льстит никому, даже всемогущему великому Юпитеру, — ты был великодушен и ничего ему не сделал, но ты должен согласиться со мной, что если встречается юноша неизвестного плебейского звания — жаль, что я не знаю его имени, — способный на такой поступок, то можно еще надеяться на спасение отечества и республики.

— Да, это был смелый поступок, и ради смелости, проявленной этим юношей, я, всегда восхищавшийся мужеством и любивший храбрцов, не пожелал отомстить за нанесенные мне оскорбления и перенес все его ругательства и брань. Но знаешь ли ты, Катилина, какое следствие имели поступок и слова этого юноши?

— Какое? — спросил Сергей, устремив любопытный и испытующий взгляд на счастливого диктатора.

— Отныне, — ответил Сулла, — тот, кому удастся захватить власть в республике, не захочет более от нее отказатья.

Катилина в раздумье опустил голову. Через мгновение он поднял ее и с живостью сказал:

— А найдется ли еще кто-нибудь, кто сумеет или захочет захватить высшую власть?

— Ладно, — сказал, иронически улыбаясь, Сулла, — ладно... Вот толпы рабов, — он указал на ряды амфитеатра, переполненные народом. — Найдутся и господа!

Эта беседа происходила среди гула нескончаемых рукоплесканий толпы, увлеченной кровопролитным сражением, происходившим между лакваторами и секуторами и быстро закончившимся смертью семи лакваторов и пяти секуторов. Шесть оставшихся в живых гладиаторов, покрытые ранами, в самом плачевном виде вернулись в темницы, а народ с жаром аплодировал.

В то время как лорарии вытаскивали с арены двенадцать трупов и уничтожали следы крови, Валерия, посматривавшая на Суллу, который сидел невдалеке от нее, встала, подошла сзади к диктатору и вырвала нитку из его шерстяной хламиды. Удивленный Сулла обернулся, рассматривая ее своими сверкающими звериными глазами. Она коснулась его и сказала с очаровательной улыбкой:

— Не истолкуй моего поступка в дурную сторону, диктатор, я взяла эту нитку, чтобы иметь долю в твоём счастье!

Почтительно поклонившись и приложив, по обычаю, руку к губам, она пошла на свое место. Сулла, приятно польщенный этими любезными словами, проводил ее учтивым поклоном и долгим взглядом, которому постарался придать ласковое выражение.

— Это кто? — спросил Сулла у Долабеллы.

— Валерия, — ответил тот, — дочь Мессалы.

— А!.. — сказал Сулла. — Сестра Квинта Гортензия?